

УДК 821.161.1(78.071)
ББК 84(2Рос)
К40

Герард Кимеклис

К40 Страницы жизни / Г. Кимеклис. — Томск: Интегральный переплет, 2020. — 448 с., ил.

ISBN 978-5-6044235-3-0

Это книга о подлинной истории семьи Кимеклисов, сибирских поляков, которых немало жило в Томске с конца XIX века. Автор делится своими воспоминаниями о быте, отношениях между людьми различных социальных групп, о своих учителях. Трагическая история его семьи тесно переплетена с не менее трагической историей России и, конечно, городом Томском.

Став журналистом, Г. Ф. Кимеклис не прервал свои отношения с миром искусства. Он был свидетелем 14-и Конкурсов им. П. И. Чайковского, начиная с самого первого и до 14-го, пока позволяли силы, и освещал эти события в прессе. В этой книге лишь немного, что было написано о выдающихся музыкантах (с некоторыми из них автор лично знаком), оркестрах и дирижерах, представлены интервью, в которых артисты раскрываются, как личности и, как художники.

Эта книга для Вас — пытливый и любознательный читатель.

УДК 821.161.1(78.071)
ББК 84(2Рос)

ISBN 978-5-6044235-3-0

© Г. Кимеклис, 2020

Задача жизни не в том, чтобы жить на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, создаваемым тобою законом.

Марк Аврелий

*Фелициану Луциановичу и Пляциде Теофиловне
Кимеклисам — моим несравненным родителям —
эту книгу посвящаю.*

ДЕТСТВО

... **С** чего начинается жизнь? С первого вдоха.
С чего начинается книга? С первой страницы. Она —
как вход в таинственное, пугающее и властно вле-
кущее к себе царство теней прошлого. Реальны лишь они —
тени. В самом деле? Да. Будущее призрачно и в нем нет даже
теней. Настоящее постоянно ускользает. Попробуй, ухвати,
приостанови его. Не получится. Поэтому разговор можно ве-
сти только о прошлом, состоявшемся. Так прошлое становит-
ся настоящим, вневременным, и его можно неспешно изучать
и описывать с любых сторон. Подобно археологическим на-
ходкам в толще человеческой памяти. Случившееся однажды
остаётся навсегда. Мераб Мамардашвили утверждает: «Аго-
ния Христа длится вечно». Быть может в этом и заключается
сущность неизъяснимого?

...Транссибирская железнодорожная магистраль. Если
ехать на Восток, в двухстах километрах от Омска поезд оста-
навливается среди бескрайних Барабинских степей на стан-
ции Татарск. Ныне это город, так и оставшийся до наших дней
поселком с разбитыми дорогами и невысокими накренивши-
мися домами. Здесь в 1922 году 26 октября я и родился. Память
пытается пробиться сквозь толщу времени длиной почти в век,
но, увы, безуспешно. Представление о Татарске — или Татарке,
как это место порой называли старожилы — я получу многими
десятилетиями позже, когда проездом сойду с поезда, чтобы
восстановить в местном ЗАГС-е неизвестно как затерявшееся
удостоверение о собственном рождении. Побродив по уны-
лым и разбитым улочкам поселка, где ничто не радовало глаз,
я внезапно оказался в заветном Отделе записей гражданского

состояния. В крохотной конторе за столом, заваленном бумагами, сидела блеклая женщина, лицо которой еще хранило угадающие признаки былой молодости. Спустя несколько мгновений пальцы сотрудницы отдела рождений и смертей по городу Татарску листали пухлый фолиант записей актов гражданского состояния и уперлись в строчки, из которых доподлинно явствовало, что я и в самом деле родился. Мало того, был указан и адрес, по которому произошло это эпохальное для меня и моих родителей событие. Номер дома не запомнился, а вот название улицы — Железнодорожная! — врезалось в мою память на долгие годы, приобретя некий судьбоносный смысл и хотя бы отчасти объясняя фантомы младенчества. Когда я закрываю глаза и пытаюсь мысленно восстановить зыбкие картины моего далекого детского прошлого, то всегда вместо зримых очертаний этого мира слышу уносящие меня в таинственную даль паровозные гудки, звучанием которых, как мне кажется, была пронизана вся атмосфера поселка. Да и обязан своим местом рождения я был отцу — инженеру-строителю, навек связавшему свою судьбу с железнодорожным транспортом Сибири и Туркестана. Литовец по происхождению и сын многодетного хуторянина в крохотном Дебейкяе, что близь Каунаса, он, в поисках лучшей доли и снедаемый жаждой знаний, по своей доброй воле в 1907 году отправляется в далекий университетский Томск. К слову сказать, Сибирь в ту пору была не только местом ссылок, но и зажиточным обетованным краем, где можно было заработать на жизнь и даже получить достойное образование. Осуществляя мечту всей своей жизни, отец поступает в Томский технологический институт и в 1918 году, когда по Сибири уже стала расплзаться чума большевизма, оканчивает его. Именно в Томске отец знакомится с моей будущей мамой — дочерью польского ссыльного, католика, наказанного царской властью за отказ принять православие, которое в западных землях российской империи насаждалось насильственно.

Будучи далекими от всяких политических страстей и, следуя исключительно своему гражданскому долгу, отец вместе с матерью едет строить магистраль, связавшую, Казахстан и Среднюю Азию с Сибирью. Годы в дореволюционном Томске с его достатком, польским землячеством и университетской атмосферой сменились эпохой гражданской войны и разрухи, голодом, постоянными переездами по насквозь продуваемым заснеженным степям Восточного Казахстана, командировками в обезлюдевшие Сергиополь и Семипалатинск, повальными эпидемиями брюшного и сыпного тифов. Чудом выжившая после перенесенного тифа мама, трудившаяся на пересыльных пунктах сестрой милосердия (так именовали тогда медсестер), из жгучей брюнетки превратилась в седую как лунь пожилую женщину. А было ей тогда всего около тридцати лет. В начале двадцатых годов железнодорожное ведомство перебросило родителей на транссибирскую магистраль, где отец и работал на ее различных участках, а семья из бабушки с бабушкой и моей мамы покорно следовала за ним. Так я и появился на свет в Татарске, пополнив семью еще на одно лицо. По рассказам мамы после Татарска мы жили в Топках, Белово, Барабинске и еще Бог весть где, пока в 1927 году не вернулись снова в Томск. Где и осели.

Если память о Татарске ассоциировалась с Паровозными гудками и ни с чем другим, то воспоминания последующих нескольких лет медленно, но неуклонно обретали все более четкие конкретные формы. Так, хорошо помню себя трехлетним малышом, прогуливающимся по улице какого-то поселка с бабушкой, который держит мою руку в своей. Дедушка высок, плотен, у него ласковый, негромкий голос. Или — большая просторная комната, тихо, никого нет. Кроме меня и бабушки. Дедушка в гробу, гроб на столе, под которым я безмятежно вожусь с игрушками. Впоследствии узнаю, что дедушка умер на 73-м году жизни от чахотки (так тогда называли туберкулез), которую в ту пору лечить еще не умели, что он был

отпрыском старинного польского рода Альдмановичей. До поселения в Томске на переломе XIX — XX веков жил с семьей в Пензе, свидетельством чему стали хранившиеся в родительском архиве многочисленные фотографии, на одной из которых был запечатлен большой двухэтажный дом с городовым на углу, принадлежавший, как говорила мама, дедушке. Он, как и мой папа, в Сибири строил Транссибирскую магистраль, но только еще при императоре Николае II. Вопреки всем обстоятельствам не только дедушку, но и его детей упрекнуть в отсутствии верноподданнических чувств было невозможно. Один из его сыновей дослужился до чина царского генерала и по личному поручению самодержца осуществил дипломатическую миссию в Китае, а позже, когда в 1918 году в России запыхал огонь гражданской войны, спасал империю, командуя корпусом кадетов в армии Колчака. Другой сын служил военным врачом в Сибирской дивизии, тоже пытавшейся очистить Россию от большевистского террора, предотвратить ее гибель. Колчак был расстрелян, дивизия расформирована и обоим сыновьям чудом удалось спасти свои жизни бегством за пределы России. Генерал под чужой фамилией оказался в Польше, а военврач вместе с женой Валентиной Тыжновой эмигрировал в Харбин. Так под влиянием чудовищных социально-политических катаклизмов рушилась дедушкина семья, состоявшая некогда из пятерых детей, жены — Марии Францевны Высоцкой — моей бабушки тоже представительницы древнего польского рода, и ее матери — моей прабабушки, в жилах которой текла кровь знаменитого венгерского рода Эстергази. Уже к середине 20-годов XX столетия после смерти дедушки в семье остались лишь я с мамой и папой, да бабушка. Что же их — не русских людей — заставило остаться в злополучной России, пренебрегая опасностями для своей жизни в тоталитарном государстве, основанном на терроре и насилии? Думаю, что только наивная вера в спасительное «все образуется», разум одолеет безумие, и здоровые силы народа возьмут

верх над разгулом агрессивных страстей. Бедные родители, проецируя свои чувства к России, которой они служили верой и правдой, на ее народ, они закрыли глаза на исторический путь страны, периодически возвращавшейся от одной страшной смуты к другой в тщетных поисках неуловимой истины земного бытия...

Вдоволь наскитавшись по полустанкам и участкам сибирской магистрали, что было обусловлено служебными обязанностями папы, в 1927 году семья поселилась в Томске. Здесь было расквартировано Управление томской железной дороги, и папа был назначен в нем старшим экономистом. Круг как бы замкнулся, и родители вновь вернулись под сень старинного сибирского города, определившего их совместную судьбу. Несмотря на приход к власти большевиков, Томск в ту пору все еще оставался культурным центром Западной Сибири, и его духовная атмосфера продолжала разительно отличаться от других городов региона — провинциального Омска, пролетарского Новосибирска, возникшего, как известно, из рабочего поселка. Не говоря уже о захолустных Барабинске, Татарске и прочих населенных мест и местечек. Духовное очарование Томску придавало, прежде всего, существование в нем старейших учебных заведений — университета, технологического, медицинского и педагогического институтов, замечательно музыкального училища, в котором преподавали выпускники Московской, Петербургской, Варшавской консерваторий. В городе было много интеллигенции, оставшейся от прежних времен и еще не отправленной человеконенавистническим режимом к праотцам. Это случится немного позже. Жили поляки, в большинстве своем ссыльные, отказавшиеся принять православие, подобно моему дедушке, или участники восстаний XVIII — XIX в.в. против оккупации польских земель царизмом. Чуть поодаль центральной части города на высоком месте стоял небольшой костел, впоследствии превращенный советскими властями в гараж.

Поселились мы в доме на улице Никитинской 71, принадлежавшем известному не только в Сибири, но и далеко за ее пределами выдающемуся инфекционисту и специалисту в области восточной медицины профессору Габриэлю Францевичу Вогралику, чеху, дело которого после гибели в страшном 1937 году продолжили его сын Вадим, внук Михаил и многочисленные ученики. Однако к тому времени он, находясь в разводе с женой, в доме этом уже не жил и всеми делами в нем заправляла его бывшая супруга Александра Васильевна. Инспектор общеобразовательных школ города, она была известна всему Томску. И жизнь в таком доме для моих родителей была лестной и отмеченной ореолом духовности и высоких интересов. Отсутствие в деревянном доме бытовых удобств, вроде центрального отопления, водопровода, телефона и т.д. в те годы мало кого смущало и взятые в наем две небольших комнаты с голландскими печами казались родителям, уставшим от скитаний, наверно, верхом счастья. Окна квартиры выходили во двор, летом всегда засаженным декоративными цветами, благоухавшими по вечерам пьянящим ароматом табака, анютиных глазок и резеды. На задах двор переходил в сад, где высились ели, цвела черемуха, плотной стеной стояли заросли малины. Зимой он превращался в сказочное царство льда и снега, ослепительно белыми сугробами устилывшего все пространство сада и причудливыми шапками лежавшего на ветках деревьев. От внешнего мира усадьбу надежно охраняли высокий дощатый забор и ворота, за пределы которого разрешалось выходить только взрослым.

Тогда мне было уже пять лет и, благодаря бабушке Марии Францевне, мое знакомство с городом не ограничилось домом, в котором мы поселились. Как сейчас вижу ее высокую, подтянутую фигуру в длинном — почти до пола — платье, аккуратно причесанные седые волосы, невыразимую словами сдержанно благородную грацию ее неторопливых движений, мягкие и удивительно правильные очертания ее лица. Я держусь за

бабушкину руку, всем своим существом впитывая ее ласковую нежность, и мы неспешно прогуливаемся по утопающим в зеленом убранстве улицам. Под ногами колышатся деревянные настилы, проложенные вдоль домов и предназначенные для ходьбы (асфальтированных тротуаров тогда не знали), издавна доносятся растворяющиеся в воздухе звуки духового оркестра, играющего в городском саду. Иногда на них накладываются печальные звуки уже другого оркестра, доносящиеся с отдаленного кладбища. Вместе они образуют странную какофонию противостояния жизни и смерти, которые в сущности, как сказал древний мудрец, друг от друга неотличимы и есть одно и то же. На мне — белые кружевные нарукавники и черный костюмчик с короткими штанишками, длинные белокурые волосы вьются колечками и падают с головы почти до плеч. Иногда, идущие навстречу нам с бабушкой прохожие, привлеченные нашей необычной внешностью, приостанавливаются и обращаются к нам с вопросами — кто мы и откуда. За бабушку и себя отвечаю я — «А мы приехали из города Белова с чемоданами и багажами». Кажущаяся наивность ответа вызывает у людей добрую улыбку, но по сути, — он правилен. То, что при себе — чемоданы, все остальное — багаж в специальном вагоне для перевозки тяжелых и громоздких вещей. Удовлетворенные моим ответом, вежливо попрощавшись с вопрошавшим, идем с бабушкой дальше. Впрочем, Томск той далекой поры не был столь же вызывающе серым и скучным как любой российский город нашего времени. Включая первопрестольную. Женщины носили скромные длинные юбки, возвеличивавшие достоинство представительниц прекрасного пола, замысловатые шляпки, отчего человеческие лица приобретали известную утонченность, шарм; дети из интеллигентных семей — короткие штанишки, а мужчины — пиджаки при наглухо застегнутых у горла сорочек и галстуках, а то и бабочках. Весь Томск знал сына местного профессора Левочку Быховского, появлявшегося на людях неизменно в добротном смокинге

с белоснежными кружевными манжетами, выглядывавшими из-под рукавов. Так что я в своем поэтическом наряде в городе был не одинок. Простые горожане, а их было немало, тоже как-то старались поддержать высокую марку университетского города и не позволяли себе разгуливать по улицам в чем Бог на душу положит. Одежда, если и не делала людей лучше, добрее, интеллигентнее, то во всяком случае принуждала их к внешнему порядку, дисциплине, самоуважению — предтече уважения к другим. На что, собственно говоря, и опиралась жизнь университетского города, еще в те годы не успевшего полностью растерять традиции, обычаи и нравы до большевистского времени.

Водила меня бабушка и в костел, отстоявший от нашего дома на довольно почтительном расстоянии, поскольку жили мы почти на краю города. Долго шли по улице Никитина, на которой под номером семьдесят один и стоял наш дом, проходили мимо солдатских казарм, где размещались какие-то воинские части с неизменной охраной у ворот, поворачивали направо и, миновав знаменитые громовские бани выходили в конце концов на центральный проспект, тогда еще носивший название Почтамтской улицы, позднее переименованной в проспект Ленина, хотя одиозный вождь пролетариата в Томске никогда не был и какого-либо отношения к нему не имел (не считая, конечно, того, что погубил город, как и всю Россию). Оставив за спиной почтамт, гастроном и угловой универмаг, переходили небольшой каменный мост через речку Ушайку — приток Томи, и, поднявшись вверх по крутой улице, оказывались в костеле, царившем на пригорке над центральной частью города. Насколько помню, религиозного фанатизма в нашей семье никогда не было, однако над моей кроватью всегда висела потемневшая от времени иконка с изображением Святой Троицы — Отца, Матери и Сына, выполненная из материала, чем-то напоминающего современную пластмассу. В этом костеле меня крестили, а когда в начале тридцатых годов советские вла-

сти превратили его в склад, а бабушка умерла, то и прогулки к костелу прекратились, оставив лишь грустные воспоминания о невозвратном. Однако в те дни, о которых я сейчас вспоминаю, бабушка моя была еще жива, неразлучна со мною — внуком, единственным для нее в те годы, поскольку других ей видеть и выхаживать будет уже не суждено. Все остальные дети — кроме моей мамы — в эмиграции, а переписка с ними прекратится по соображениям безопасности уже в начале тридцатых годов. (Людям последующих поколений трудно представить себе страшную атмосферу тех лет, когда любые связи с родственниками или знакомыми, живущими за границей казались советским властям предосудительными и жестоко карались). Человек истинно европейского склада ума и воспитания, бабушка в сложнейших и подчас невыносимых жизненных ситуациях, в изобилии предлагавшихся советской действительностью, никогда не теряла самообладания и всегда оставалась корректной, сдержанной и немногословной. Лишь Богу одному ведомо, каких жестоких страданий стоила ей разлука с детьми, вынужденными спасаться от большевистского террора бегством за границу без всякой надежды воссоединиться когда-либо с семьей. Чтобы оградить себя от преследований властей, ей пришлось даже сменить свою фамилию по мужу Альдманович на фамилию моего отца, выдавая себя за его мать. Впрочем, не только выдавая, но и питая к нему самые трогательные и поистине родственные чувства. Неблагозвучное понятие «теща», получившее в советской среде устойчиво отрицательный оттенок и заранее обрекающее семейные отношения на катастрофу, в нашей семье воспринималось не больше как нонсенс или клич из языка варваров, далекий и чуждый нашему сознанию. И дело здесь не только в душевных качествах людей, хотя эти качества и определяют прежде всего характер взаимоотношений членов семьи, но и в этике человеческого поведения, вне которой самые высокие сокровища души мало чего стоят. В расхожем утверждении

«он груб, хам и т.д., но человек он хороший» по крайней мере, свидетельствуется нищета духа, говорящего и примитивизм, извращенность его моральных понятий — добра, зла, приличий, понятий о чести и достоинстве.

Всегда исполненная внутреннего достоинства и вместе с тем подчас обескураживающей простоты, никогда не впадающей в бесцеремонность, бабушка была замечательным воспитателем. Ослушаться ее просто не приходило в голову, потому что доверие, которое она к себе внушала, было безграничным и не могло поколебаться даже в самых критических ситуациях. Однажды она застала меня, шестилетнего, в туалете с дымящейся папиросой в руке. Не повышая голоса, без малейшего раздражения, но строго и требовательно бабушка сказала: «О том, что я увидела, никому не скажу. Но только в том случае, если это никогда больше не повторится». Свое слово бабушка сдержала. Польщенный доверием бабушки, сдержал свое слово и я, навсегда отказавшись от дурного соблазна. В другой раз, сидя за столом и на что-то рассердившись, швырнул на пол недоеденный кусок хлеба. Заставив меня поднять его, бабушка заметила, что ничего хуже такого поступка быть не может, потому что хлеб — это святыня. С тех пор я приучился беречь каждую крошку хлеба и, уж во всяком случае, не выбрасывать его. Впоследствии любое зрелище кощунственного обращения с булкой хлеба, выброшенной в мусорный бак или с легкой руки глупых подростков, заменяющей им футбольный мяч, приводит меня в содрогание. И не только потому, что в жизни пришлось не раз испытать муки голода, но и потому, что нравственный урок, преподанный мне любимой бабушкой, запечатлелся в моем сознании навсегда. Впрочем, как и все остальные уроки добра и морали, полученные мною от бабушки. Не сомневаюсь, что весь секрет ее чудодейственного восхитительного дара заключался в ее личности, неотразимость влияния которой на окружающих была просто уникальна. Носительница истинной европейской культуры, она

умела сочетать в себе исключительно доброжелательное отношение к людям со строгостью оценок их поведения в сдержанной и корректной форме, щадящей человеческое самолюбие и не унижающей собственное достоинство.

Как ни странно, но уход бабушки из жизни прошел для меня, тогда восьмилетнего, как-то незаметно, почти естественно. Быть может потому, что она долго болела и ее кончина стала для меня лишь продолжением ее как бы небытия, вызванного болезнью. Можно приписать подобное безразличие и особенностям возраста, еще не способного задумываться о тайнах и последствиях смерти, поскольку сам факт собственного существования начисто опровергает возможность обратного. Тем не менее, на всю жизнь запомнились безжизненно белые стены больничной палаты, в которой ничего не было кроме железной кровати, на которой лежала бабушка, тумбочка у ее изголовья с водруженным на нее медным колокольчиком для вызова сестры, металлическим проволочным жгутом, продетым через его ушко. Именно этим жгутом с заостренными концами небрежно перевитой проволоки бабушка, как рассказывала мама, изнемогая от страданий пыталась перерезать себе вены... Больница, где она лежала, находилась на противоположном от нашего дома краю города — за технологическим институтом, в котором некогда учился мой папа, на спуске к Томи близ пивоваренного завода. Последний запал в мою память и потому, что в 30-е голодные годы — уже после смерти бабушки — мама частенько посылала меня с бидоном в руке почти через весь город на этот завод за пивными дрожжами, видя в них средство от малокровия. А оно преследовало в те годы всю нашу семью. Умерла бабушка в 1931 году и похоронили ее на ныне уже не существующем Преображенском кладбище Томска на участке, отведенном для католиков. Помню день ее похорон, уходящую вдаль тенистую аллею кладбища с бесчисленными по обе ее стороны могильными холмиками, людей, сгрудившихся вокруг отверстой могилы, в которую опускают гроб с бабушкой,

маму с застывшим от горя помертвевшим лицом, на котором не дрогнул ни единый мускул — в семье не было принято выплескивать чувства наружу. Все страдания — только в себе, переносить их на окружающих — великий грех и неуважение к себе и другим. Скоро вырастет холм, его забросают цветами (было лето) и все разойдутся. Уйдем домой и мы с мамой (где был папа — не помню), а потом не раз будем снова и снова возвращаться, чтобы прибрать ее, возложить свежие цветы и долго-долго в немом молчании постоять около нее. Похоронили бабушку под фамилией зятя — Кимеклис, ибо для советских властей ее подлинная фамилия Альдманович, могла бы стать тем же, что и красная тряпка для обозленного и потерявшего рассудок быка. Если он, рассудок, вообще у него был.

Болезнь и смерть бабушки совпали с началом нового продовольственного кризиса в стране. К концу 20-х годов тоталитарная власть отменила НЭП, при котором, как я помню, неподалеку от нашего дома ютились — нередко в подвалах — частные лавчонки и даже пекарня. В лавчонках можно было купить шоколадку с ромом, а в пекарне свежеспеченную ароматную булку хлеба. И то и другое ошеломляло меня, тогда ребенка, своим неповторимым вкусом и напрочь вытеснило все воспоминания, связанные с другими продуктами, которые там можно было купить. Однако изобилия продовольствия в городе не было, а мясо, масло и прочие продукты животного происхождения считались чуть ли не лакомством, деликатесом. На рынок их не привозили, а если привозили, то стоили они порой баснословных денег. Горожане ездили за ними в отдаленные деревни или небольшие города, где можно было раздобыть их по сходным ценам. Или променять на одежду, обувь, бытовую утварь. Так и мама еще при жизни бабушки отправилась из Томска в Барабинск за продуктами. Раздобыла там несколько килограммов масла, столько же мяса, несколько десятков яиц. На обратном пути власти все приобретенные продукты конфисковали. Понадобилась специальная справка

с места службы отца, в которой подтверждалось, что продукты были закуплены для нужд семьи, страдающей от недоедания, а не с целью наживы. Конфискат не вернули, а вот справка до сих пор хранится в семейном архиве как одно из вещественных свидетельств жестокости и абсурда экономической политики государства.

К концу 20-х годов НЭП отменили, заодно с целью укрепления режима искусственно организовав повальный голод в Украине и России. Раскулачивание и коллективизация уничтожило крестьянство. Все это кощунственно называлось «социалистическим переустройством мира». Страна, отгородившись к тому же «железным занавесом» от остального человечества, превращалась в резервацию для голодающих с единственным правом человека на гибель. Если до этого проживавшая в Кракове мамина сестра Хелена время от времени присылала нам письма и даже продуктовые посылки с салом и мукой, то уже в начале 30-х годов наша связь прекратилась. В Томске прилавки магазинов зияли пустотой, в Управлении Томской железной дороги, где работал папа, сотрудникам выдавали по одному талону в день на обед в ведомственной столовой. Нередко эти талоны папа отдавал мне, и я ходил обедать вместо отца. Обеды были скудные, но хотя бы на время избавляли меня (но не отца!) от изнуряющего чувства голода. Чтобы как-то свести концы с концами, мама целыми днями строчила на швейной машинке, придавая старой одежде подновленный облик и продавала ее на толкучем рынке. Тревога за семью и забота о хлебе насущном оттеснили на второй план чувство личного достоинства и уважения к себе, чему в роду мамы всегда придавалось решающее значение. Унижение, навязанное жестокими реалиями жизни, терзало маму до конца ее дней, но она никогда и никому не говорила об этом, так как это означало бы новое моральное падение.

Правда, стали появляться и так называемые торгсины — коммерческие порождения советского режима, в которых

можно было купить почти все, но по баснословно высоким ценам и только за валюту. Государство, уничтожив частнопредпринимательский НЭП, само становилось спекулянтom в разоренной и нищей стране. Естественно, пользоваться этими магазинами мы не могли.

Население Томска выживало главным образом за счет приусадебных участков и заброшенных земель на краю города, на которых выращивало овощи и прежде всего картофель. Заготовленный на зиму в подвалах, мешках, утепленных помещениях, — он спасал томичей от голодной смерти. Кто не имел по тем или иным причинам заниматься огородничеством — погибали. Особенно страдала интеллигенция, неприспособленная к физическому труду и не обладавшая практическими навыками выживания, свойственными простым людям. Жестоко бедствовали многие наши знакомые. Через дом от нас жили две престарелых сестры Шишмаревы, дворянки, у которых приход большевистских орд отнял все — близких, средства к существованию, право на безбедную и достойную старость. У них не было ни доходов, ни огорода, ни сил, чтобы ухаживать за ним. Зато одно общение с ними стоило дорогого — предельный такт и вежливость, обескураживающая душевность и трогательное смирение перед зловещими реалиями жизни. Их жилище могло привести в отчаяние — две крохотных комнатки в ветхой мансарде, убогая мебель, истрепавшиеся тряпичные занавески на окнах, отсутствие малейших бытовых удобств. За исключением электричества, которое в ту пору в Томске постоянно гасло. Они непостижимым образом выжили в голодные 30-е годы. Бедствовали многие семьи папиных сослуживцев по Управлению томской железной дороги, инженеров, получивших, как и мой отец, высшее образование еще в царское время. Вскоре им всем предстояло безвинно погибнуть в разгул чудовищных советских репрессий (лукаво именуемых «сталинскими», чтобы переложить ответственность с системы и поддерживавшего ее охлоса на одно лицо). А пока все они,

интеллигенты, совершенно неприспособленные к жестоким реалиям жизни и во многом наивные, безропотно тянули лямку рабского труда на преступное государство. Буквально нищенствовала семья инженера Кучкина, так же жившая недалеко от нас в сыром полуподвальном помещении, куда через почти ушедшие в землю окна никогда не проникал луч солнечного света. У инженера, кроме жены, были больная туберкулезом дочь, коротавшая в сумрачном подвале свои последние дни, и сын — мой сверстник по имени Женя. Самой ценной вещью в этой юдоли бедности и страданий была старенькая фисгармония. Спустя несколько лет я научусь игре на фортепиано и буду демонстрировать свое искусство на инструменте с необычными для меня педалями, которые постоянно надо было приводить в движение. Так как мои ноги решительно отказывались двигаться синхронно с пальцами на клавиатуре, то предприимчивый Женя залезал под стул, на котором я сидел, и, упершись руками в педали, выполнял за меня работу моих ног. Все были довольны и, казалось, полутемная комната озарялась светом неизвестно откуда снизошедшей радости.

Вспоминаю семью инженера Сенкевича. Тоже папиного сослуживца. Поляк по национальности, он, как я предполагаю, оказавшись у царского правительства в немилости, был сослан на поселение в Сибирь. Как и у Кучкиных в семье было двое детей — дочь и сын по имени Кокусъ. Некогда богатая дворянская семья, выжившая в условиях царской ссылки, но сломленная катаклизмами большевизма, воплощала собой образец полного крушения жизненных целей и идеалов. В некогда респектабельном доме ныне царили хаос и грязь, на кухне громоздились горы давно немытой посуды, а за кипятком — чтобы лишний раз не растапливать плиту — дочь ходила за квартал к соседям. И это не была лень-матушка, а душевная и этическая деградация. Такова была цена ломки общественных отношений. Но, тем не менее, хозяйка дома — уже немолодая польская пани, изо всех сил еще хранящая в себе остатки

традиционного польского этикета, не отпускала посетителей без чая в тончайшей, просвечивающей на свет чашке севрского фарфора, к которой, увы, прилипали пальцы... Поддерживая светский тон общения, мама в таких случаях произносила вежливое «merci», а я, сославшись на переполненный желудок (пустой на самом деле), почтительно отодвигал свою чашку в сторону. Конечно, никакого огорода у Сенкевичей не было, да они и не знали, как его возделывать.

Были примеры и другого рода. За несколько кварталов от нас на пригорке стояла Никольская церковь, при которой в жалкой каморке с женой и детьми жил священник. Приход, состоявший в основном из старушек, был немногочисленный, а пожертвования — ничтожны. Семья голодала и мама, будучи знакомой со священником, время от времени приносила его детям еду. Однажды случилось так, что я играл с его сыном, и мы поссорились. Мальчик пожаловался отцу и тот, разъяренный, плохо сдерживая гнев, догнал меня и, сжав кулаки, бросил мне в лицо: «Я тебе покажу, чем русский дышит». Так я впервые получил урок национальной нетерпимости, запомнив его на всю жизнь. Если, конечно, не считать того, что порой мои русские сверстники, с которыми я играл — или не играл, называли меня «ляхом». Хотя, как известно, по причине нежного возраста они в военных баталиях России с поляками замешаны не были и просто повторяли то, что внушали им родители. Впрочем, на отношение мамы к моим обидчикам это нисколько не повлияло, и она продолжала и после случившегося помогать им. Ибо ее сострадание перевешивало чувство обиды.

Не в пример этим несчастным жили соседи по обеим сторонам нашего дома. Не отягощенные особым воспитанием или образованностью, они копались на огородах, держали скотину, отстраивали жилые и подсобные помещения, превращая свои усадьбы в своеобразные крепости, отгороженные от остального мира высокими заборами с воротами на засовах. У одних мы круглый год покупали молоко, у других,

летом, — малину, двор которых был в удивительном порядке и весь засажен, как и прилегающий к нему огород. Неумолимое течение времени будет уносить жизни этих практичных и работающих людей, приводя в упадок и запустение их усадьбы, которые будут разграблены и снесены. Людей этих будут называть «кулаками», «куркулями», «тунеядцами», «паразитами» и т.д., окружая атмосферой общественной нетерпимости, зависти и подозрительности, искусственно созданной властями в ходе так называемой классовой борьбы. Той самой борьбы, которая привела к насильственной ликвидации даже мало-мальски зажиточной части населения как в городе, так и деревне. Больше: к истреблению генофонда нации и гибели российской цивилизации вообще.

С нашими предприимчивыми соседями мама всегда была в добрых отношениях, хотя и не столь близких, чтобы их можно было назвать приятельскими. Панибратство ей было не присуще. Во главу угла всегда ставилось уважение мамы к себе, которое с неизбежностью подразумевало уважение и к окружающим. Еще при жизни бабушки в нашу семью была приглашена в качестве прислуги простая деревенская женщина по имени Фима. Жила она у нас несколько лет до начала 30-х годов, пока очередная волна голода не настигла Томск, и она была вынуждена вернуться к себе в деревню. Расставалась Фима с нами почти рыдая, поскольку впервые в жизни почувствовала себя в нашей семье, как она говорила, человеком. И в самом деле: пили-ели за одним столом, заботились друг о друге, совместно обсуждали проблемы каждого из нас, никогда не позволяя себе в чем-то упрекнуть или унижить другого. Отдыхали тоже вместе. Так, память выхватывает из потока времени теплый летний день, наш утопающий в цветах двор, ворота на улицу распахнуты и в них въезжает большая телега с впряженной в нее лошадью. Все мы — мама, папа, бабушка, Фима и я едем на пикник в таежное село Заварзино, что в восьми километрах от города, где нас ждут могучие кедры, вечнозеленые ели

и опьяняющий аромат древесной смолы. Увы, теперь там эта дивная тайга вырублена и лишь кое-где сохранившиеся пеньки напоминают о былом величии окрестностей Томска. Идет бездумное и планомерное наступление на природу и человечество, подобно самоубийце-маньяку, уничтожает самое себя. До сих пор у меня хранится фотография конца 20-х годов: на скамейке в саду сидят мама, Фима и бабушка, рядом с ними стою я, а у наших ног, развалившись лежит наша любимая собака Марс, которая тоже со временем бесследно исчезнет, уйдет в небытие, как и все остальные персонажи снимка — такие родные, близкие и крайне необходимые.

Расположение мамы к простым людям не означало, однако, неразборчивость в выборе знакомств и дружеских связей. Хотя критерии последних у нее не были столь же суровы, как у ее сестры — моей тетки Хелены. Как впоследствии мне стало известно от ее сына и моего двоюродного брата Альфонса — или, как называли его в семье, Алесика — Хелена неукоснительно делила людей на категории, которыми и определялось ее отношение к визитерам. С одними она разговаривала только через порог квартиры, не приглашая их войти в дом, другим позволяла переступить этот порог и принимала людей в прихожей, и лишь третьим — особо доверенным и близким лицам — выпадала честь быть приглашенными в гостиную. Ничего предосудительного в том не было — соблюдалась иерархия человеческих отношений, растоптанная в России большевиками и приблизившая вырождение и деградацию человеческой популяции в стране. Мама моя, напротив, старалась не воздвигать излишних барьеров между собой и людьми, барьеров, могущих быть превратно истолкованными не в пользу человеческих контактов. С этой целью она даже труднопроизносимые для русских свое имя и отчество Пляцида Теофиловна заменила на понятное Зинаида Федоровна, приближавшее ее к людям. Ничего конъюнктурного в том не было, но была лишь готовность понять людей и быть понятой ими.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В октябре 1930 года мне исполнилось восемь лет, и надо было поступать в школу. Однако мне не повезло, и вместо школьного класса я оказался в больничной палате по поводу неожиданно сразившего меня дифтерита. Каких-либо физических и моральных ощущений, связанных с болезнью, не помню, зато явственно до сих пор вижу высокие белесые спинки железной кровати, на которой я лежу, большой проем окна, с плотно придвинутой к нему моей кроватью, озабоченные, и тем не менее улыбающиеся лица мамы и папы за оконным стеклом, потому что взрослым вход в детское инфекционное отделение запрещен. Я приподнимаюсь на своем ложе, пытаюсь расслышать то, что говорят мои родители, обращаясь ко мне, но их голоса гаснут за двойными рамами окна. За моей клиникой — огромный Лагерный сад, поросший хвойными деревьями и притулившийся к тогда еще полноводной Томи на краю города. Неподалеку вверх по реке — знаменитый дачный поселок Басандайка, излюбленное место отдыха и купанья горожан. Всю эту роскошь сибирской природы я, сиделец больничной палаты, не вижу, конечно, но живо представляю и грежу прогулками, свободой и возможностью быть в движении. Болезнь моя затянулась и меня определили в школу на год позже — в 1931-м. Начальная школа эта считалась в Томске одной из лучших и оказался я в ней благодаря протекции хозяйке дома — Александре Петровне Вогралик, как я уже говорил, инспектору общеобразовательных школ города. Школа располагалась в центре города в старинном двухэтажном бревенчатом доме с резными наличниками на окнах и высоким парадным входом с улицы, который

был — в соответствии со вкусами новой власти — наглухо заколочен. В школьное помещение можно было попасть только со двора, крайне неухоженного и к тому же проходного. Таким образом объявлялась война всяким буржуазным предрассудкам и условностям. В школу приходилось ходить пешком и на переход уходило не меньше часа. Пешком, потому что общественный транспорт в те годы почти отсутствовал, если не считать, конечно, некий сплав автобуса с маленьким и тесным фургоном, прозванным в народе «собачьей конурой» и курсировавшим всего в двух или трех направлениях на весь довольно большой город. Тот, кому довелось хотя бы один раз воспользоваться услугами «собачьей конуры» и оказаться изрядно помятым плотно прилипшими друг к другу и раздраженными пассажирами, во второй раз в нее уже не садился и предпочитал идти пешком. Впрочем, по улице Никитинской, на которой мы жили и по которой я всякий раз ходил к месту учения, никакой другой транспорт, кроме гужевого, не наблюдался. И немудрено: летом улица утопала в облаках пыли, вздымавшейся из-под копыт лошадей или битов лапты, которой забавлялась местная молодежь, а в осеннюю слякоть и дождь — превращалась в непроходимое болото.

Поначалу в школу меня провожала мама, но вскоре, осмелев, я решил ходить один. Шел не спеша, чуть ли не с наслаждением разглядывал все вокруг, останавливался у солдатских казарм, мимо которых пролегал мой путь, наблюдал за сменой караула, свернув мимо университетского общежития направо, и затем налево оказывался перед каменными стенами старого особняка с надписью на его фронтоне «Бани Громова». Поскольку в то время о домашней помывке можно было только мечтать, то бани эти мы с папой исправно посещали один раз в неделю и визит этот приравнивался чуть ли не к священнодействию. Немного полюбовавшись чистилищем на Земле, некогда принадлежавшем купцу Громову, а ныне экспроприированном большевистскими погромщиками, я вскоре входил

в здание школы. Занятия в ней припоминаю довольно смутно. Лица сокашников расплываются в мареве времени, а вместе с ними и нехитрое оборудование классов — деревянные столы (даже не парты!), за которыми первокласснику сидеть было крайне неудобно, такие же деревянные скамейки, чернильницы «непроливашки» с коническим отверстием внутрь, что не мешало заключенным в них чернилам проливаться наружу, окрашивая столы, руки и одежду учеников. Однако — стоп! «Непроливашки» — это уже скорее из атрибутики более поздних классов, а пока перед мысленным взором навязчиво мельтешит фантом сомнительного сюжета, вызывающего во мне и по сей день смешанное чувство боли, стыда и... упоения собой. Актный зал школы. Он до отказа заполнен людьми. Лиц не разглядеть. Все тонет в полумраке. Я — на сцене. Стою неподвижно в карауле. К плечу моему приставлена винтовка со штыком, которую я удерживаю рукой. Разумеется, бутафорская. На сцене происходит что-то величаво-торжественное и вместе с тем беспомощно убогое. Чтобы не сказать вызывающе жалкое. Много красного — флажки, полотнища. Красное — символ крови, убийства, излюбленный цвет дикарей. Кажется, отмечается день то ли смерти, то ли рождения вождя международного пролетариата Ульянова-Ленина. О «подвигах» этого политического проходимца, вскормленного германским капиталом и поддержанного определенной частью российских обывателей, я знал от родителей, жестоко пострадавших в годы большевизма. Однако чувство брезгливости к одиозному герою школьного шоу не смогло противостоять опьяняющему чувству ответственности за порученную мне роль. Нечто подобное, кстати, приключилось со мной и годом-двумя позже, когда я учился во втором или третьем классе. Меня вместе с другими одноклассниками приняли в пионеры и повязали на наши шеи красные галстуки. Я не знаю, что испытывали в это время мои сверстники, но мной тогда овладело непередаваемое чувство совершенного греха, одновременно

сладостно-влекущего и постыдного, отталкивающего. Дома мое обращение в новую веру было воспринято снисходительно молчаливо, однако мои собственные терзания были столь велики, что на третий день после коммунистического крещения я не выдержал и, сорвав красную тряпичку с шеи, никогда больше ее не повязывал. Естественно, в дальнейшем не стал ни комсомольцем, ни членом партии. Уроки детства пошли на пользу, ибо аморально все, что так или иначе ведет к насилию и надругательству над жизнью и личностью человека, его правом остаться незапятнанным перед Богом, родителями и собственной совестью.

Ощущения, вызывающие досаду, скепсис и разлад в душе, сменяются иными, порой прямо противоположными и рождающими ранее незнакомые чувства сладостной тревоги, затаенного вожделения. Как ни странно, но чувства эти вызывает учительница, руководительница класса — высокая (быть может мне так только казалось из-за моего незначительного роста?), миловидная женщина с мягкими, округлыми чертами лица и тепло звучащим голосом. Однажды она пришла в наш дом в гости к своему патрону — Александре Петровне Вогралик и, уходя, на мгновение приостановилась во дворе у ворот, где я играл. Не помню, что она мне сказала, но и сейчас спустя многие годы помню ласкающие интонации ее голоса и нежную бархатистость ее руки, которую она неизвестно для чего протянула мне. Я, страшно смутившись, ответил ей рукопожатием и замер, ощутив невыразимую благостность прикосновения ее руки к моей. Помню, что после этого случая я всегда смущался при встрече с моей несравненной учительницей и больше всего боялся быть замеченным в чувствах к ней. Наверное, это был мой первый урок либидо, определивший на долгие годы мое отношение к женщинам, отношение, насколько возвышенное, настолько и романтическое, имя которому — тайна. И эта тайна не имела ничего общего с вожделением плоти, ибо она, плоть, могла только осквернить, уничтожить то

великое, трепетное, несказанное, что заполняло мою душу. Так продолжалось долгие годы. Помню, как уже в более поздние годы моего школьного бдения я безнадежно влюбился в свою соклассницу. Терзаемый страхом разоблачения моих чувств к ней, ничего не ведавшей о них и не проявлявшей каких-либо признаков внимания ко мне. Однажды я увидел ее с кавалером, они шли по улице навстречу мне, и на их лицах была запечатлена вся торжественность момента их единения, которого они не стеснялись. Стеснялся лишь я, стараясь пройти мимо них незамеченным, не раскрытым, и прежде всего потому, что увиденное мною было для меня катастрофой, крушением и осквернением идеала чистой, возвышенной любви, которому я поклонялся. Но все это было позже. А пока я исправно посещал школу, не усердствуя особенно в занятиях. Тем более в математике, чем вызывал у отца, порой помогавшего мне готовить уроки поэтому, на мой взгляд, скучнейшему предмету, недовольство. Отец, как и подобает литовцу, был крайне сдержанным и терпеливым человеком, однако и он однажды, рассердившись, не говоря ни слова, схватил меня за волосок. И ничего больше. Тем не менее, этот, на первый взгляд, безобидный урок запомнился мне на всю жизнь. И не без пользы — понял, что сердить никогда и никого нельзя. Даже ангела во плоти. Правда, после случившегося мои успехи по математике не стали более впечатляющими, однако к ненавистным мне цифрам я стал относиться более благосклонно. Отношения с родной речью у меня складывались намного лучше. Если иметь в виду русский язык, премудрости которого изучали в школе. Со временем я настолько погрузился в его стихию, что даже пытался описывать на нем впечатления от увиденного. Так, однажды в доступных для младшего школьника выражениях в письме к отцу, находившегося по долгу службы в Красноярске, живописал картину пожара на нашей улице. Потом долгое время не мог пережить радость от того, что папин сослуживец, которому отец показал мое письмо, назвал

меня «писателем». Назвал то ли в насмешку, то ли в похвалу, но это значения уже не имело. Важен был уже сам по себе факт. Между тем подлинным родным языком был для меня польский. По рождению. Именно на нем разговаривали в нашей семье, и разговаривал я с самого раннего возраста. Польский язык мирно уживался в семье с русским и носил скорее чисто локально-семейный характер. Польским разговорным я владел довольно бойко, а вот письменного, — чурался. Никак не хотел ему учиться, чем очень огорчал бабушку, которая всеми силами пыталась привить мне навыки польской письменности. Причиной тому была, на мой взгляд, только лень, нежелание трудиться. О чем я, спустя много десятков лет, искренне пожалел. И жалею до сих пор. Но прошлого не вернешь. Любил рисовать и, кажется, делал успехи, однако с годами все больше удалялся от этого увлечения. Интерес к рисованию был вытеснен музыкальными занятиями и... страстью к технике. Конструировал электромоторы и летательные аппараты, телефоны и простейшие радиоприемники, тогда еще детекторные, главной деталью которых были крохотная пружинка и чувствительный к радиоволнам кристалл. Именно благодаря им я однажды впервые услышал через наушники Лунную сонату Бетховена, неповторимые звуковые сочетания которой перевернули мою душу раз и навсегда. И не здесь ли следует искать один из источников моей влюбленности в музыку, которая, напитавшись новыми впечатлениями и усилившись с годами, впоследствии определила всю мою жизнь...

После того, как полюбившееся мне пианино уплыло по Томи в Новосибирск, волей-неволей возникла необходимость восполнить образовавшуюся в моей душе брешь другим инструментом. Разумеется, пианино, по которому я стал не в шутку тосковать.

Заболела наша дорогая мама и оказалась в больнице, где угодила под нож хирурга по поводу аппендицита. К слову сказать, тогда было трудно, невозможно предполагать, что случив-

шееся послужит началом необратимых событий, надвигавшихся на нашу семью. Больница принадлежала железнодорожному ведомству, к которому папа имел прямое отношение, и располагалась далеко на окраине города — за железнодорожным вокзалом Томск-2. Размещалась она в приземистом деревянном доме, обитом досками, окрашенными, как и большинство пристанционных построек в Сибири, — согласно негласной традиции — в грязновато-желтый цвет. Мы с папой посещали больную маму почти каждый день. Наш путь к ней пролегал через весь город — пешком с окраины на окраину. Однажды неподалеку от маминой больницы наше внимание привлекло наклеенное на заборе объявление. Говорилось в нем о продаже пианино. Хотя в те дни нам с папой было совсем не до покупки инструмента, мы все же, скрепя сердце, отправились посмотреть пианино. Удивлению нашему не было конца, когда в запущенной убогой квартире, среди бедняцкого скарба перед нашими глазами встало видение в виде старинного, с золочеными подсвечниками пианино, все еще сверкающего коричневым лаком петербургской фабрики «Goetze». Фабрика эта была не ровня знаменитым петербургским «Becker» или «Schreder», но, как и они, собирала свои инструменты исключительно из частей немецкого производства и отличалась добротностью своей продукции. Не в пример, кстати, беззвучным «играющим комодам» — пианино и роялям советского производства, созданным, в частности в Петербурге, на основе экспроприированных и разграбленных большевиками дореволюционных фабрик.

Но открытие состояло еще и в том, что папа узнал это пианино. В студенческие годы ему довелось плавать на пароходе, курсировавшем до революции по Томи и Оби между Томском и Новониколаевском (ныне Новосибирск). По его словам, в салоне кают-компании он видел не просто такое же пианино, а именно то, которое сейчас продавалось. Оставался открытым вопрос, каким образом оно оказалось в частных руках.

Но это значения уже не имело. Ограблена была вся Россия. Хозяин пианино хотел получить за него, не помню какую, но довольно круглую сумму. Таких денег у нас не было. Но разве можно было отказаться от соблазна стать владельцем инструмента, который мне очень понравился, а папе напомнил дни его молодости? Посоветовавшись с мамой, решили предложить продавцу в качестве эквивалента денег мамины золотые украшения. Сделка продавцу пришлось по душе и вскоре пианино, водруженное на телегу с впряженной в нее лошадь (увы, иных видов транспорта тогда почти не знали), и схваченное веревками, последовало через весь Томск к нам на квартиру. Поставили его на то же опустевшее место, где стоял теткин Diderix, — в спальне между кроватями и окном, выходящим на огород, по которому иногда прогуливалась соседняя корова. Когда я буду играть, она будет почти вплотную приближаться к окну и, замерев, подолгу стоять, не шелохнувшись. Наверное, это был мой первый и последний наиболее преданный слушатель, которому следовало бы поставить памятник. Все это произошло в отсутствие мамы, и когда она, оправившись от болезни, вернется домой, то будет глубоко растрогана сюрпризом, учиненным ее предприимчивыми домочадцами. И вместе с отцом будет несказанно рада, что я смогу продолжить прерванные было занятия музыкой. Впрочем, отношение к ним у мамы и папы несколько различалось. Прагматически мыслящая мама считала, что ее сын должен стать инженером. Будучи искренне заинтересованной в моих занятиях музыкой, она вместе с тем глубоко противилась желанию папы, который хотел бы видеть сына в будущем профессиональным музыкантом. Вероятно, в этом желании отца скрывалась его неутоленная тоска по серьезным занятиям музыкой, оставшихся по целому ряду жизненных причин нереализованными. По мнению мамы, избрать профессию музыканта может только тот, кто вправе рассчитывать на международное признание. По прошествии многих лет, думаю, что она была права.

Вскоре мы с мамой в Томске остались одни, без папы. В 1933 году Управление томской железной дороги расформировали и отца перевели на работу в Управление Красноярской железной дороги. Последовать за отцом в Красноярск мы с мамой не смогли, так как руководство дороги дальше обещаний предоставить нам жилье не шло, а нужно было где-то жить. Папа между тем ютился в общежитии среди таких же, как и он бывших сотрудников томского Управления, разлученных с семьями и отправленных в Красноярск. Так продолжалось почти пять невыносимо долгих лет. Кто тогда мог предположить, что эти годы, завершившиеся роковым для нашей семьи 1938-м, станут для нее последними?

Впрочем, в те дни, казалось, ничто трагическое нам не угрожало. После операции мама чувствовала себя в целом неплохо, а на временные недомогания внимания старалась не обращать. К тому же была преисполнена надежды, что разлука с папой продлится недолго, и скоро все мы будем жить в Красноярске. Между тем папа, преданность семье которого не знала границ, пользовался каждой служебной и неслужебной оказией, чтобы навестить нас с мамой. Каждый его приезд становился для нас праздником. В Томске, как и всегда, прилавки магазинов пустовали, и папа привозил с собой неизвестно где добытые им то мед, то сливочное масло, превращавшие наше скудное застолье в пиршество. Однажды отец подарил мне только что освоенный отечественной промышленностью фотоаппарат «Фотокор», в результате чего увлекся фотографированием и с замиранием сердца проводил долгие часы в темной комнате при свете красного фонаря за проявлением негативов и печатанием снимков. Совершенно потрясающим аккордом в череде подарков стал для меня новейший ламповый радиоприемник «Си-235», привезенный отцом, как и все остальное в один из визитов в Томск. Ярко голубого цвета, оклеенный дерматином со светящейся шкалой в виде барабана, встроенным динамиком, воспроизводящим почти естественное звучание

человеческой речи или музыкальных инструментов, он был подобен чуду, сошедшим с небес в нашу квартиру. При этом папа, смеясь, рассказывал, как он довез этот довольно громоздкий приемник, норовивший то и дело выскользнуть из рук, когда пришлось пересаживаться из поезда в поезд на станции Тайга, где начиналась железнодорожная ветка на Томск. Выбор подарка был не случайным: отец знал о моем увлечении радиотехникой, что тотчас и подтвердилось, не удовлетворившись средними и длинными волнами, в диапазоне которых приемник только и мог «ловить» радиостанции, я стал сооружать к нему конвертер для приема вещания на коротких волнах. Однако, как я ни старался, конвертер бездействовал. Бездействовал к моему великому огорчению и, не исключая, удовольствию советской власти, всячески ограничивавшей доступ людей к нежелательной для нее информации, распространявшейся зарубежными передатчиками на коротких волнах. По этой же причине и «Си-235» был выпущен советской промышленностью в кастрированном виде — без коротковолнового диапазона. Зато во всю усердствовали дорогостоящие «глушилки», на сооружение которых тоталитарному государству денег было не жаль. Как бы то ни было, но подарок отца исправно — в пределах отпущенных ему возможностей — служил мне до начала войны с Германией, когда властями был изъят и вернулся ко мне лишь в 1945-м. Увы, сохранить его как память об отце не удалось. Тем не менее до сих пор я храню как святыню старенький отцовский «Фотокор» и прелестную фарфоровую композицию гончих собак, которую папа привез мне в подарок еще в 1927 году. Уверен — эти бесценные для меня сокровища сберег Бог. В переездах, смене углов и квартир, в сутолоке и перипетиях жизни многое было потеряно, украдено, уничтожено, но эти вещи по-прежнему целы и невредимы, они — со мной. Мало того, они олицетворяют живую связь времен и наглядно свидетельствуют о реальном существовании человеческого духа, вечно бессмертного, но пере-

воплотившегося в окружающие нас предметы. Сказано ведь — вещи не стареют. Стареют только наши представления о них. Но это уже вопрос нашей памяти и нравственности. Они должны быть вечно на волне усилия, переходящего во всепоглощающую потребность души.

Однажды летом отец взял меня с собой в Красноярск. Ехали в вагоне, каких теперь давно уже нет и в помине: с деревянными жесткими полками, второй верхний ярус которых откидывался, угрожающе нависая над головами сидящих внизу пассажиров, с дребезжащими — а то и просто разбитыми — оконными стеклами, с грохочущими на рельсовых стыках колесами, отчего весь вагон вздрагивал, как в лихорадке. Когда поезд подъезжал к Красноярску, первым перед глазами вырос высокий холм с часовым на его вершине, у подножия которого раскинулся город. Сойдя с поезда, мы с отцом вскоре оказались в его общежитии, где тотчас я очутился в центре внимания папиных сослуживцев. Появление ребенка из Томска, где у них оставались свои семьи и дети, был для них приятным сюрпризом. Тотчас нашлась для меня койка с постельным бельем, кто-то угощал конфетами, кто-то даже расспрашивал о моих музыкальных успехах. Каждое утро я пешком провожал отца на работу в Управление, сидел у него в кабинете, обедал вместе с ним в столовой. Увы, несмотря на победные реляции советских властей о, якобы высоком уровне жизни советских людей, зарплаты оставались крайне низкими, и их хватало порой лишь на, чтобы еле свести концы с концами. Тем более при жизни на два дома, как это случилось с нашей — и не только нашей! — семьей. Однажды во время обеда у папы не оказалось денег, чтобы за него расплатиться. Попросил официантку, чтобы она дала в долг — до получки. На следующий день долг с благодарностью был возвращен. Я этого не видел и, воспитанный в строгих правилах, во время обеда спросил отца, вернул ли он официантке деньги, чем поверг сидящих за столом в дружный смех. Испытываю вину перед

отцом до сих пор. Случай этот был не единичным. Помню, он шуточно рассказывал мне, как время от времени оставался без копейки и тогда он шарил по всем карманам в надежде найти какой-нибудь завалявшийся пятак. И находил! Что всегда воспринималось им как счастливый дар свыше. Очевидно, исходя из предположения, что одни советские люди нуждаются в пище, другие — меньше, а то и вовсе могут обойтись без нее, власти поделили города и населенные пункты по категориям. К первой из них относились города с военно-промышленным потенциалом, к остальным — все прочие, его не имеющие. В целом на круг получалось, что страна голодала. В отличие от Томска, постоянно пребывавшего в состоянии продовольственной анемии, в Красноярске отец водил меня в немыслимое для моего воображения кондитерское кафе, где можно было насладиться вкусными пирожными. Ничего подобного в Томске не наблюдалось годами, за исключением, правда, одного случая, когда мы с мамой, не поверив своим глазам, увидели в гастрономе, как нам почудилось, шоколадные конфеты. Увы, это была лишь абберрация зрения: конфеты оказались соевыми, и тем не менее для Томска сенсационными. Естественно, ушли мы из магазина крайне довольные покупкой. И, как здесь не вспомнить другой случай, когда одна наша знакомая, вернувшись из поездки в Москву, рассказывала маме, как, заглянув в Елисеевский гастроном на Тверской, была поражена обилию шоколада на прилавках. Не в силах удержаться от соблазна, она не покидала Елисеевский до тех пор, пока от съеденного не в меру лакомства ей не стало плохо. Так часто бывает в жизни: трагическое переплетается с комическим. Впрочем, если бы в голодной Сибири 30-х годов все дело сводилось бы только к шоколаду...

Однако вернемся в Красноярск. Однажды под воскресенье отец преподнес мне поистине царский подарок — повез меня во всемирно известный заповедник под интригующим названием «Столбы». Переправившись на катере на противо-

положный берег Енисея, мы с отцом неожиданно оказались в дремучей тайге, почти вплотную подступавшей к береговой кромке реки. После нескольких часов перехода по утоптанной тропинке вглубь таежного леса уже поздно вечером, в сумерках, мы отыскивали сторожку лесника и в ней заночевали. На следующий день утром мы были потрясены видом разбросанных там и сям среди лесных чащ огромных причудливых скал, которых накануне вечером разглядеть не смогли. Это и были знаменитые Красноярские «столбы», с легкой руки многочисленных туристов, носивших экзотические названия — «Баба», «Перья» и т.д. Однако для местных жителей скалы эти были больше чем чудеса природы и место отдыха. Со временем для красноярцев — и не только — они превратились в спортивный культовый объект, где смельчаки, подпоясавшись традиционными для этого занятия красными кушаками и надев на ноги не менее традиционные галоши — для лучшего сцепления с камнем, взлезали на головокружительные высоты по скользким стенкам исполинов. Людей этих называли «столбистами» и в Красноярске даже существовал специально организованный для них клуб. Не блещущий красками провинциальный будничный Красноярск буквально расцветал, когда на его улицах появлялись живописные «столбисты» в своих претенциозных нарядах. О «столбистах» и их отваге ходили легенды, среди которых было немало и с трагическим концом.

В Томск я вернулся переполненный впечатлениями, не предполагая, что через несколько лет мне придется уже одному вновь вернуться в этот город. Но по другому поводу, перевернувшему всю мою жизнь. А пока занимался фортепианными экзерсисами у Евгении Ивановны Беневоленской, впитывая в себя благородную и утонченно строгую атмосферу ее служения людям и искусству, учился в школе. Окончив четыре класса начальной школы — той самой, где я участвовал в каком-то спектакле, стоя в карауле с ружьем, мама перевела меня в другую школу, находившуюся недалеко от нашего

дома. Учились в ней преимущественно дети из семей, не обремененных навыками культуры и поведения. Так, однажды после уроков на школьном дворе какой-то озорник плеснул на меня чернилами и тотчас скрылся. К ужасу мамы домой я вернулся с лицом в фиолетовых разводах и окончательно загубленной одежде. На всю жизнь запомнилась и дорога в школу, дорога, которую осенью и весной развозило так, что в ее непролазной и липкой грязи оставались галоши. Мама, отчаявшись, на следующий год отвела меня в другую школу, тоже вблизи от нас. Хотя контингент учеников в ней по социальному составу и был выше, но проказников и здесь хватало. Мой сосед по парте по фамилии Телятников и по прозвищу Телка во время урока тайно писал в чернильницу-непроливашку, а затем ставил ее на стол к учителю — доброжелательному и интеллигентному пожилому человеку, обучавшему нас пению. А то и стрелял в него бумажными «пульками» из рогатки под плохо скрываемое ехидное хихиканье всего класса. В школе вместе с несчастным учителем пения, чьи манеры и облик выдавали его дворянское происхождение, работало немало и других людей, причислить которых к рабоче-крестьянскому классу было невозможно. Учителем русского языка в нашем классе был, например, всегда подтянутый и подчеркнуто вежливый бывший царский офицер. Шли тридцатые репрессивные годы и на наших глазах — глазах детей — эти высокие профессионалы и отменные воспитатели поочередно исчезали, канув в вечность. В том числе и наш несчастный учитель пения, и наш строгий учитель русского языка... Глубоко обеспокоенная мама всякий раз, провожая меня в школу, призывала держать себя достойно и сдержанно, не забывая при этом напомнить мне, что я — сын инженера. Увы, тогда это звание еще что-то значило. Быть может в рамках советской идеологии даже со знаком «минус», поскольку интеллигенция — тем более дореволюционной формации — новоявленным хозяевам мира была ненавистна. Мама понимала это, но отказать себе в чув-

стве превосходства над простыми людьми с их сомнительными нравами и ограниченностью не могла.

Между тем, казалось бы, оправившись от перенесенной операции, мама стала прихварывать. Никому не жалуясь и не рассказывая о своем недомогании, нашла доктора, который, по ее мнению, должен был ей помочь. Это был знаменитый в городе врач по фамилии Плоскирев. Не имевший никакого отношения к лечению желудка, который все больше и больше беспокоил маму, Плоскирев тем не менее славился в Томске целителем-универсалом, лечащим любые болезни. Доверившись, мама четыре года исправно посещала своего доктора, принимала поученные от него какие-то таинственные снадобья, уверяла, что чувствует себя лучше и... тихо таяла. Когда состояние стало невыносимым, обратилась за помощью к профессору Савиных — известному в Сибири хирургу. Увы, вердикт профессора был жесток — рак, оперировать было поздно. Жить оставалось несколько месяцев. Случилось это уже в сентябре 1937 года. Можно было лишь удивляться стойкости этой женщины. Ни слезинки. Ни слова отчаяния. Ни единого упрека в адрес лечившего ее целителя, злоупотребившего ее доверием и не нашедшего в себе мужества сразу же признаться в своей некомпетентности. Впрочем, быть может все было по-иному. Плоскирев знал о неизлечимости болезни и имитацией лечения, как мог поддерживал душевные силы больной, ее веру в исцеление. Кто знает... Между тем никому не было ведомо, какие трагические страсти бушевали в те дни в глубинах существа матери, никому не выплескиваясь наружу. Разве только менялся ее внешний телесный облик, становившийся с каждым днем все более хрупким, немощным, невесомым. Передо мной старая, выцветшая от времени фотография, которую я когда-то сделал «Фотокором», подаренным мне отцом. На ней — больная мама, сидящая на стуле. Ввалившиеся глаза, потухший взгляд, аккуратно уложенные локоны седых волос на голове. Фотография рождает воспоминания, повергающие

меня в безысходную тоску и... стыд. В тоску — потому что это последний запечатленный на снимке образ мамы, сделанный при ее жизни и незадолго до ее кончины. В стыд и чувство невосполнимой вины перед матерью — потому что однажды позволил себе быть с ней бестактным, повинувшись мальчишеской тяге к бездумному озорству. Выразилось оно в том, что вот так же сидящей на стуле маме подал ей полотенце, о котором она меня попросила, водрузив его на палку. Ответив поначалу на мой пренебрежительный жест печальной полуулыбкой, мама неожиданно рассмеялась и тем самым на какое-то время погасила возникшее во мне чувство неловкости. Однако с годами, когда мамы уже не было, чувство — это стало перерастать в мучительную боль, не покидающую меня до сих пор и научившую меня быть предельно осторожным ко всем еще живущим. Ведь с их уходом исчезает и сама надежда исправить что-либо в своем поведении, и остаются лишь стыд и боль. Остаются навсегда.

Осенью 1937 года мама слегла. Окончательно. Изможденная и страдающая часами лежала в постели, не в силах подняться с нее и сделать хотя бы один шаг. Мы с мамой все еще жили одни, и на помощь к нам пришла жена одного из папиных сослуживцев по Управлению Томской железной дороги. Забросив свои домашние дела и семейные обязанности, эта самоотверженная женщина целые дни проводила у кровати умирающей, уделяя при этом посильное внимание и мне — школьнику. Мама не хотела волновать папу и сообщать ему о своем состоянии. Тогда сама мамина помощница, посоветовавшись со мной, от своего имени уже в конце декабря отправила в Красноярск папе телеграмму, в которой сообщила ему всю правду. Телеграмма пришла в Красноярск поздним вечером, когда в Управлении дороги уже давно закончился рабочий день, и лишь некоторые сотрудники оставались на своих местах, в том числе мой папа. Прочитав телеграмму, он тотчас бросился в кабинет к своему начальнику, которого там

не оказалось. Оставив на его столе заявление с просьбой о предоставлении отпуска, отец уже через час сидел в вагоне поезда, мчавшегося в Томск. Поступок этот впоследствии дорого стоил отцу. Железнодорожный транспорт в советское время был военизированным, и любая «самоволка» могла быть причислена к дезертирству. К тому же шел кровавый 37-й, ознаменовавший пик чудовищного разгула репрессий. Понимал ли это отец? Конечно, понимал. Тем более, что и в Управлении дороги, где он работал, уже шли повальные аресты сотрудников. Но слишком велика была его привязанность к нашей дорогой маме, чтобы в страшный час нависшей над ней опасности подумать о себе.

Писать об этом невыносимо тяжело. Тем более что подобные события не имеют срока давности и, обладая феноменом странной протяженности, лишь подчеркивают тот неоспоримый факт, что время неподвижно. Агония Христа длится вечно, — учил нас великий Мераб Мамардашвили. Более того — с годами тяжесть эта катастрофически нарастает, потому что годы приумножают страдание, ставя человека перед осознанием необратимости случившегося. Приехав в Томск, папа почти четыре месяца неотлучно жил с нами. Теперь за мамой ухаживали уже двое — наша добрая знакомая вместе с папой, предупреждая малейшее желание больной и всячески стараясь облегчить ее моральные и физические страдания. По сути, она умирала голодной смертью — пораженный раком пищевод не принимал никакой пищи и отвечал на нее новыми приступами боли. Однажды маме неожиданно захотелось невероятного по советским меркам блюда — куропатку в сметане. Чудом добыли злосчастную дичь, приготовили, но есть ее мама не стала. Не смогла... В предчувствии близкой смерти говорила, что если бы пришлось начать жить сначала, то ничего не жалела бы для себя. Увы, понимание краткосрочности нашего бытия и неповторяемости мира приходит к человеку подчас слишком поздно, а жертвенность не вознаграждается ничем,

ибо ей цены нет. Отдают ли себе в этом отчет живущие, обязанные самим фактом своего существования тем, кто близок им и окружает их? К сожалению, далеко не всегда.

Уже незадолго до кончины мама слабеющим голосом подзвала меня к себе и произнесла фразу, ставшую для меня завещанием. В ней было мало слов, но много смысла. «Не ошибись в выборе жены», — сказала мне мама. И если в тот момент я, мальчик, воспринял эти слова даже с некоторым недоумением, то со временем осознал всю их значимость.

...Рано утром 18 марта 1938 года я проснулся от прикосновения чьей-то руки. Открыл глаза и увидел склонившегося над мной отца. «Мамы у нас больше нет», — донеслось до меня. Голос отца был тих и сдавлен, узнать его было почти невозможно. Случилось неизбежное, в реальность которого поверить, было невозможно. Мама оставалась жива. Жива в мыслях, памяти, сердце. Она была частью моей жизни, моего существования, меня самого. Ее дух витал вокруг меня. Я это ощущал до боли, до слез и поэтому я воспринял страшную весть скорее умом, чем чувством. Мертвое тело мамы могло рассеять, разрушить это состояние, больше того — ее бранные останки становились чужими, враждебными для ее отлетевшего вечного духа и мысли о нем. Я понял, что видеть бездыханный труп я прикасаться к нему не смогу. Иначе — полная и окончательная катастрофа. Мама лежала в гостиной, смежной со спальней, в которой я спал. Выйти из нее я мог только через дверь в гостиную. Зажмурив глаза, чуть ли не спиной к покойной я медленно миновал гостиную, проскользнул в коридор и вскоре очутился вне дома, на улице. До вечера бесцельно, почти в беспамятстве, бродил по городу, тем более что сам отец посоветовал мне провести этот день по своему усмотрению и подальше от дома. Даже дал мне немного денег на кино, в которое, потолкавшись немного у его касс, я не пошел. Со смертью мамы обрушился весь привычный уклад жизни и будущее ничего хорошего не предвещало. Что, впрочем, чуть

позже и случилось. А пока — через день или два — я шел за катафалком, не смея к нему приблизиться и увидеть этот страшный гроб и мою дорогую маму в нем. Идя вместе с одной из маминых подруг где-то далеко в хвосте похоронной процессии, я, пятнадцатилетний подросток, воспринимал происходящее как странный сон наяву. Чтобы как-то вернуть ощущение реальности и заглушить то и дело охватывавший меня ужас, я толковал своей спутнице что-то о вещах, не имеющих никакого отношения к постигнутому нас с папой горю: о резиновых калошах, которые якобы вопреки всему промокают, о томских деревянных тротуарах с торчащими из них гвоздями, о которых я постоянно спотыкался и рвал галоши. Погода, кстати, была сырая, небо хмурилось, город утопал в слякоти, дорога на кладбище через весь город казалась бесконечной. Так что повод для таких разговоров был... Увы, не прошло и семи лет, как земля Преображенского кладбища, приняв прах моей бабушки, стала последним приютом и для моей мамы. Пройдет еще несколько лет и обе могилы — бабушки и мамы, расположенные поблизости друг от друга, будут уничтожены. Впрочем, как и все историческое кладбище. На костях бабушки и других покойных будут воздвигнуты корпуса завода «Сибкабель», а на том месте, где была могила мамы, разобьют футбольное поле. Страна, которая попирает прах своих сограждан, обречена: тот, кто не дорожит памятью о прошлом, лишается будущего. Перед смертью мама просила уложить на ее могилу плиту. Увы, исполнить последнюю волю мамы было не суждено. Сделать это будет некому. Могилы отца вообще не будет, но об этом позже.

Вспоминаю поминки мамы. За большим раздвинутым столом, уставленным нехитрой снедью, сидели люди. Никого из них в живых уже давно нет. Прощаясь с мамой, они, сами того не подозревая, справляли тризну и по самим себе. Вместо водки, которой в пустыющих советских магазинах купить было невозможно, пили пиво. Благо, что оно продавалось за углом.